



ХРОНИКИ РУССКОГО СЫСКА

ВЫПУСК
№1

Сергей Диковинный

МЁРТВЫЙ АКТЁР ДВАЖДЫ



КИН,
или
ГЕНИЙ
и
ЗЛОДЕЙСТВО

КИН,
или
ГЕНИЙ
и
ЗЛОДЕЙСТВО

ДЪЛО №

Новелла
перекус
№ 8

Сергей Диковинный ХРОНИКИ РУССКОГО СЫСКА. Выпуск первый. МЁРТВЫЙ АКТЁР ДВАЖДЫ

<https://litres.ru/74446933>

SelfPub; 2026

Аннотация

Москва, 1886 год. Московское сыскное отделение, агент Игнат Куракин — человек нелюдимый, с чемоданом вместо портфеля и с театральным прошлым, о котором не рассказывает никому. При нём околоточный надзиратель Иона Васин — двадцать лет службы, тетрадь в клетку и привычка записывать всё, даже то, что не понимает.

Четыре дела. Четыре московских зимы и вёсны.

Дело первое — о человеке, который не мог умереть дважды. Дело второе — о том, кого взяли на сцене. Дело третье — о театре «Аркадия», где нашлось три Баркова, а убийц оказалось двое. Дело четвёртое — о «Фениксе», который сгорел и возродился из пепла.

Куракин не гонится за преступником. Куракин даёт ему думать, что его не видят. А Васин записывает: «След всегда

больше вещи», «Актёр играет чужую жизнь, сыщик читает свою», «Пирожок у Егорова с капустой».

Цикл исторических детективов о двух следователях, которые ловят московских убийц не погоней, а терпением.

Содержание

Глава 1	5
Кузнецкий мост	5
Глава 2	26
Двор на Никольском	26
Глава 3	41
Пречистенка	41
Глава 4	50
Дрова	50
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Сергей Диковинный ХРОНИКИ РУССКОГО СЫСКА. Выпуск первый. МЁРТВЫЙ АКТЁР ДВАЖДЫ

Глава 1

Кузнецкий мост

Я, Иона Аркадьевич Васин, околоточный надзиратель второго участка Пречистенской части, в полиции с 1884 года. В тот вечер я шёл домой, на Остоженку, к себе в квартиру, и ни о каком театре не думал. Дело было в среду, 16 апреля, в исходе девятого часа.

Кузнецкий мост я в тот час прошёл от Петровки до Неглинной, тут же в переулке купил у мальчишки пяток пирожков с капустой и был намерен дойти до дома без всякой задержки. Дождь моросил с полудня и к вечеру не перестал. Публика на Кузнецком была ещё густая: приказчики из мод-

ных магазинов, дамы под зонтиками, студенты, извозчики — обычная вечерняя картина. Театр «Аркадия» стоит тут же, на углу Никольского переулка, фасадом к Кузнецкому. У входа в тот вечер стояли два канделябра на кронштейнах и висел афишный щит; давали «Кина, или Гения и злодейство». Трагика Баркова я знал по афишам восемь лет, но в театре не бывал ни разу: некогда.

Из зала я услышал крик в двадцать минут десятого.

Не такой крик, как на сцене. А такой, как бывает, когда человек кричит уже не по роли, а сам. За ним — короткая тишина. Потом — сразу несколько голосов, потом — гул, потом — шум отодвигаемых стульев. Я в ту минуту был у самого угла Никольского переулка, шагах в тридцати от подъезда. Я оставил пирожки у капельдинера в дверях и вошёл в зал.

В зале был порядок, который бывает у театральной публики в первые минуты испуга: все стоят, никто не идёт к выходу, все обернулись на сцену. На сцене, у самого края рампы, лежал человек. Я его узнал: Барков Александр Ильич, трагик, антрепренёра Грибова, известность московская. Лицом вверх, руки раскинуты. Из левой руки выкатилась какая-то золотая вещь и застряла между досками; я в ту минуту не разобрал, что именно.

Я прошёл через партер на сцену. Публика меня пропустила. Капельдинеры стояли по краям, занавес не опустили, из-за кулис слышался женский голос, повторявший: «Сашень-

ка, Сашенька» — и мужской бас, который приказывал никого не пускать.

На сцену ко мне вышел доктор Кистяковский. Он был тут же в зале, из публики, — пожилой, лет под шестьдесят, при часах на жилете. Он был мне известен как врач по Пречистенской части, приглашали его иногда к нам для свидетельств. Он присел у тела, взял руку, потом шею, потом послушал грудь своей трубочкой на шнурке, выпрямился и сказал:

— Разрыв сердца. Играл роль, где много крика. Бывает.

Я спросил у него:

— Смерть медикаментозная?

— Обыкновенная, — ответил он. — Сердце.

Он вынул из жилетного кармана платок и вытер лоб и подбородок. Платок был мокрый. Он положил его обратно в карман.

Я велел закрыть сцену и не пускать никого за кулисы. Тело оставили на досках до прибытия агента сыскной части; я о том распорядился через театрального служителя Костина, послав его в участок. В публике оставались ещё человек двести; я вышел к рампе и попросил всех разойтись. Разошлись тихо. Дамы шли под руку, мужчины — по одному; один купец у буфета просил вернуть ему деньги за место в третьем ряду; ему не вернули.

Я обошёл закулисье.

В уборной Баркова на туалетном столике стоял стакан с

вином, не допитый наполовину. Рядом лежала афиша этого вечера, сложенная вчетверо. На полу — пудра и слегка рассыпанная пудра была около зеркала. Окно во двор было открыто и в него шёл дождь; на подоконнике — мокрое пятно. Дверь в уборную — не заперта и не заперта была, судя по положению язычка, всё время.

В коридоре за кулисами ко мне подошёл человек, которого я не знал: плотный, с золотой цепочкой по жилету, лицо у него было заплаканное, но злое.

— Я антрепренёр Грибов, — сказал он. — Что теперь будет? У меня векселя. Кто за это будет платить?

Я сказал ему, что не знаю. Он махнул рукой и отошёл.

Через десять минут мне назвали тех, кто был в ту минуту за кулисами: актриса Вера Строева, второй сезон в «Аркадии»; рабочий сцены Григорий Тихонов, по прозвищу Гвоздь; двое суфлёров; гардеробщик; парикмахер, приходящий; и ещё лакей, принесший в уборную бутылку вина. Я велел всем остаться до утра и записал имена. Не потому, что я что-то подозревал: правило такое.

Тело под присмотром двух городских положили в комнату для репетиций, и я велел её запереть на ключ. Ключ я взял себе.

Домой я вернулся в исходе первого. Агафья спала. Пирожки остались у капельдинера, и я их на другой день у него же и взял, но они были уже сухие.

Наутро, в четверть восьмого, ко мне в участок пришёл

швейцар из доходного дома на Садовой-Кудринской, по фамилии Прохоров. Он был бледен, шапку держал в руках и с порога сказал:

— Господин околоточный. У нас на чёрной лестнице, за чуланом с дровами, — человек лежит. Мёртвый. Голый. И, — тут он перевёл дух, — я его, кажется, знаю. Это тот актёр, что вчера в театре помер.

Я велел ему идти за мной. Он шёл впереди и всю дорогу крестился.

На Садовой-Кудринской, в чулане за дровами, на голом полу, лежал мужчина лет сорока с небольшим, раздетый до белья, лицом к стене. Я повернул его за плечо. Лицо было знакомое — Александр Ильич Барков, которого я вчера в двадцать минут десятого видел на сцене театра «Аркадия». Умер он, судя по холодности тела и по пятнам, часов за шесть или семь до того, как швейцар его нашёл. Иными словами, умер он вчера вечером, когда в театр я ещё только шёл.

Я велел запереть чулан и выставил у двери постового.

И в тот же час послал курьера к агенту сыскной части Игнату Северьяновичу Куракину, с запиской в три строки: «Садовая-Кудринская, дом Андреева, чёрная лестница. Второй Барков. Пречистенской части околоточный Васин».

Тетрадь И. А. Васи́на. Записи по делу 3 «Аркадия».

Запись первая. 17 апреля 1902 года, утро.

Первое. На сцене — Барков, костюм трагика, грим, парик.

Труп под присмотром с 16 апреля, 20 ч. 40 мин.

Второе. На Садовой-Кудринской — Барков, раздет до белья, лицо чистое, грима нет. Умер прежде, чем найден. Труп осмотрен 17 апреля, около 8 ч. утра.

Третье. Доктор Кистяковский подписал 16 апреля в зале. «разрыв сердца».

Четвёртое. В уборной Баркова, 16 апреля, — стакан с вином, недопитый наполовину. Стакан из уборной не выносил. Стоит на месте.

Пятое. В уборной окно приоткрыто, на подоконнике мокрое пятно от дождя. Снаружи — общий двор, чёрный ход в Никольском переулке.

Шестое. За кулисами 16 апреля были: актриса Вера Стрелева; рабочий Григорий Тихонов (Гвоздь); двое суфлёров; гардеробщик; парикмахер; лакей с бутылкой вина. Имена записаны, оставлены до утра, со всех взято показание.

Седьмое. Антрепренёр Грибов 16 апреля в зале говорил о векселях, а не о покойном.

Восьмое. Мальчишка с шарманкой, по имени Лукьян, во дворе театра в тот вечер был с четырёх часов пополудни. Свидетель.

Девятое. У меня в тетради три записи. В деле — два трупа. Дальше — то, что скажет Куракин, когда приедет.

Куракин приехал в четверть десятого, с чёрным чемоданом, который принёс за ним мальчик-курьер. Он вошёл в чулан на Садовой, присел у тела, посмотрел на лицо, на руки,

на подошвы, ничего не сказал. Потом вышел и велел мальчику-курьеру отнести чемодан в «Аркадию».

В «Аркадии», в комнате для репетиций, мы пробыли у тела до одиннадцати.

Куракин снял сюртук, оставшись в жилете, и работал сам, без помощников: осматривал руки, шею, ногти, за ушами, у глаз, в паху; каждую вещь складывал отдельно на бумажку и надписывал карандашом. Свои наблюдения он записывал в серую тетрадь в клетку, а не диктовал мне. Я стоял в дверях и следил, чтоб никто не входил.

Он работал час и десять минут. Потом надел сюртук, вымыл руки и сказал мне:

— Одевались здесь. Одежда — не его.

Я спросил, что это значит.

— Это значит, — сказал Куракин, — что вчера вечером, после того как публику распустили, этого человека в комнате для репетиций не было. Его принесли сюда ночью и одели в сюртук уж здесь.

Я сказал, что этого не может быть: комната была заперта, ключ у меня, у двери сидел постовой.

— Ключ у вас, — согласился Куракин. — А окно?

Я посмотрел в окно. Оно было закрыто. Задвижка была опущена. Куракин подошёл, посмотрел на задвижку вблизи и сказал:

— Задвижка опущена на два сантиметра ниже, чем следует. Её закрывали не изнутри.

И, не прибавив больше ничего, повернулся ко мне:
— Иона Аркадьевич. У вас пирожки с капустой есть?
Я сказал, что есть, но они сухие.

— Ничего, — сказал он. — Сухие лучше.

Он вынул из кармана карандаш, посмотрел на него, положил обратно, взял трость и вышел в коридор.

— Запишите себе, Иона Аркадьевич, — сказал он уже от двери. — И хорошенько запомните.

— Что записать?

— Что след всегда первым приходит на место, — сказал Куракин. — Преступник приходит вторым. А мы с вами — третьими.

И ушёл.

Я записал.

Тетрадь. Запись вторая. 17 апреля, полдень.

Десятое. Комната для репетиций. Задвижка окна опущена ниже, чем следует. Закрывали не изнутри.

Одиннадцатое. Одежда на теле Баркова — не того покроя, как вчера на сцене, и не того размера. Сюртук — короткий в рукавах. Воротник — не его.

Двенадцатое. Записи Куракина мне не читал.

Тринадцатое. Труп с Садовой-Кудринской лежал голым. Труп в «Аркадии» — в сюртуке. Одежда с одного не сходится с одеждой на другом.

Четырнадцатое. Значит, есть третий.

Глава вторая. Двор на Никольском

Куракина я догнал на крыльце. Он шёл уже через двор к чёрному ходу, не оборачиваясь.

— Игнат Северьянович, — сказал я. — В директорской всё готово. Допросим?

— Допросим, — ответил он. — Только не в директорской.

— А где?

— На дворе. Люди во дворе говорят правду. В директорской — рассказывают.

Он был прав, и я это знал. Мне ли не знать: сорок лет окололочным, и сорок лет я вижу одно и то же. В комнате человек садится и вспоминает, как надо. На воздухе — говорит то, что есть.

Двор театра «Аркадия» — меж двух флигелей, с колодцем посредине, с плоской галереей вдоль второго этажа. От чёрного хода — три шага до каретника, от каретника — ворота в Никольский переулок. Место бойкое: и днём, и вечером тут кто-нибудь да сидит. Днём — прачки, торговки, мальчишки. Вечером — публика с задних рядов, курильщики, и вот этот мальчишка с шарманкой, Лукьян, который мне третьего дня дан был на глаза в диковинку, а вчера уже попал в мою тетрадь.

Мы вышли во двор. Куракин покрутил тростью, посмотрел вверх — на галерею, потом на окна второго этажа, потом на колодец. Сел на лавочку у ворот, положил трость рядом.

— По одному, — сказал он. — Начинайте с рабочего.

Я велел городовому вызвать Тихонова.

Григорий Тихонов, по прозвищу Гвоздь, — лет сорока, сухой, жилистый; руки, как у слесаря, в мозолях и в чёрных точках от железных опилок. Когда он вышел во двор, я сразу увидел: он знал, что его позовут.

— Гвоздь, — сказал я. — Расскажи, что вчера делал после конца действия.

— Коротко, — сказал Куракин.

Гвоздь посмотрел на него, потом на меня, потом опять на него. Потом заговорил, коротко, как велели.

— Публику выпустили. Тело перенесли в комнату для репетиций. Меня поставили к двери — вот тут. Я сидел на табурете у двери, дверь за собой закрыл на ключ, ключ отдал вон тому господину, — кивнул он на меня. — Кто входил — спросите у него.

— Кто входил, я знаю, — сказал Куракин. — Скажите, что вы слышали.

— Часы.

— Какие часы?

— Я не знаю, какие. У нас в комнате для репетиций часов нет. А я слышал всю ночь: тик да тик, тик да тик. Ровно, как у хорошего стенного.

Куракин карандаша не вынимал. Он смотрел на Гвоздя и ждал.

— А ещё что? — спросил он.

— Ещё — будто дверь в конце коридора скрипнула. Но это, может, ветер.

— Может, ветер, — согласился Куракин. — Спасибо. Ступайте.

Гвоздь ушёл.

Я сел рядом с Куракиным.

— Игнат Северьянович, что за часы?

— Не знаю, — ответил Куракин. — Запишите.

Я вынул тетрадь. Записал: «Часы. Тикали всю ночь в комнате для репетиций. Часов в комнате нет».

Следующий был антрепренёр Грибов. Куракин не встал, не подал руки, не предложил сесть. Грибов сел сам — на другую лавочку, напротив.

— Матвей Фёдорович, — сказал Куракин. — Когда Барков приехал в театр вчера?

— Как всегда. К началу оркестра.

— Кто был с ним в уборной?

— Лакей с вином. Парикмахер. Потом Вера Сергеевна заходила, но это — с полчаса до третьего звонка.

— О чём говорили?

— Не знаю, я там не стоял.

— А в уборной вы были?

— Я в уборной был, — сказал Грибов, и лицо у него пошло красными пятнами. — Я заходил — сказать ему, чтобы он не выходил на сцену за кулисы, а прямо из уборной. У нас порядок.

— Во сколько вы заходили?

— Не помню точно. Перед вторым звонком.

— А кем вы сами работаете, Матвей Фёдорович?

— Что это значит? — вскинулся Грибов.

— Я спрашиваю, — сказал Куракин ровно. — Просто.

— Антрепренёр я. Театр держу.

— Чей театр?

— Мой.

— А до «Аркадии»?

Грибов помолчал.

— До «Аркадии» был парикмахер, — сказал он наконец.

Куракин чуть кивнул. Он не улыбнулся, но что-то в лице у него прошло, и я в такие минуты его боялся больше, чем когда он брал в руки чемодан.

— Идите, — сказал он. — Вы мне нужны ещё будете.

Грибов встал и ушёл. Он держался за перила, хотя тут никаких перил не было.

— Игнат Северьянович, — тихо сказал я. — А что нам парикмахер?

— Парикмахеру, Иона Аркадьевич, — ответил Куракин, — удобно знать, у кого какая голова. Это ремесло. Ничего больше я не имею сказать.

Третья была Строева.

Она вышла во двор не с парадного, а с чёрного хода — значит, знала, откуда её позовут. За собой она притворила дверь тихо. Она была в тёмном платье, без брошей, без колец. Только на левом среднем пальце я заметил очень узкую, почти стёртую белую полоску — там, где кольцо когда-то бы-

ло. Она села на лавочку напротив Куракина и первая сказала:
— Я всё скажу сама. Спрашивайте.

Куракин молчал. Я тоже.

— Я знала Баркова восемь лет, — сказала она. — С Твери. Я его любила, и он это знал. А потом — два года тому — мы поссорились. Из-за дела, не из-за женщины. Дело было маленькое. Он мне не простил. И вот второй сезон я тут, у него в театре, на третьих ролях, и он ко мне не подходит.

— Зачем пришли? — спросил Куракин.

— Из-за характера. Он был дурной, но талантливый. Такого в Москве больше нет. Я пришла работать. Работа мне нужна.

— Что вы делали между вторым и третьим звонком?

— Сидела у себя.

— Кто-нибудь видел?

— Никто.

Куракин молчал.

— У вас кольцо было? — спросил он вдруг.

Строева вздрогнула. Она посмотрела на свою руку — на левый средний палец — и скрыла руку в складке платья.

— Было. Давно.

— Кто дал?

Она не ответила.

— Спасибо, — сказал Куракин. — Ступайте.

Она встала. Она смотрела на него, и в глазах у неё была такая ненависть, что я отступил на шаг. Потом она ушла сно-

ва через чёрный ход.

Я записал: «Строева. Кольца нет. Полоска на левом среднем пальце. Меж вторым и третьим звонком — одна, никто не видел. Давно не любит Куракина? Нет. Давно знает Баркова — восемь лет, Тверь».

Четвёртым был парикмахер, приходящий, Семён Семёныч Хвощ. Пришёл — так же, как и Строева, — то есть заранее зная, что позовут. Худой, в клетчатых брюках, с припомаженным пробором, при нём — маленький саквояж, который он не выпускал из рук.

— Господа, — сказал он с ходу. — Я парикмахер. Я приходящий. Я вчера стриг Баркова, но это не значит, что я его убивал. Он мне сам давал рубль на чай.

— Мы вас не подозреваем, — сказал я.

— А зачем тогда позвали?

Куракин сказал:

— Кто ещё к нему заходил до второго звонка?

— Я в уборной был весь вечер, — сказал Хвощ. — Дверь в уборную не закрывали. Заходили: лакей с вином, антрепренёр, актриса одна — я её в лицо не знаю, пришла, что-то сказала и ушла, а потом... а потом...

Он замолчал.

— Что потом? — спросил Куракин.

— А потом зашёл человек, которого я не знаю. Не из театра.

Куракин чуть двинул рукой.

— Опишите его.

— Высокий, — сказал Хвощ. — В цилиндре. С портфелем. Постоял у двери, поглядел на Баркова и ушёл.

— Портфель? Какой?

— Кожаный такой. Тёмный.

Куракин опустил глаза в тетрадь.

— Спасибо, — сказал он и встал.

Хвощ ушёл.

Я вынул тетрадь. Записал: «Парикмахер. В уборной весь вечер. Заходил человек в цилиндре с портфелем. По виду — не из театра. Не назвался. Постоял и ушёл».

Куракин взял у меня тетрадь, прочёл мои записи. Долго смотрел на слово «портфель». Потом вернул тетрадь и сказал:

— Записывайте дальше. Чёрный ход. Замок исправен?

Я пошёл проверять. Чёрный ход был с одним замком; замок был исправен, но в нём был один след — тонкая царапина у нижнего язычка. След свежий. Изнутри.

Я вернулся и доложил.

Куракин задумался.

— Записывайте, — сказал он. — Изнутри чёрный ход отпирали ключом. Ключ — у кого?

Я сказал: у Грибова, у Гвоздя, у двоих суфлёров, у городского участка на посту, и у меня самого.

Куракин покачал головой.

— Плюс, — сказал он, — у человека в цилиндре. С порт-

фелем.

Он встал и пошёл к воротам.

У самых ворот во дворе сидел Лукьян, с шарманкой. Он сидел тут с самого утра, никто его не сгонял, и он терпеливо ждал, пока его позовут. На плече у него сидел попугай Архип, зелёный, старый, с седой головкой. Лукьян посмотрел на Куракина и сказал:

— Ваше благородие. Вы вот что послушайте, пока я вам всё не рассказал.

Куракин вернулся и сел на лавочку рядом с ним.

Я вынул тетрадь.

Тетрадь. Запись третья. 17 апреля, вечер.

Пятнадцатое. Часы в комнате для репетиций тикали всю ночь. Часов в комнате нет. Записано со слов рабочего Тихонова.

Шестнадцатое. Чёрный ход отпирали изнутри. Царапина у нижнего язычка. Свежая.

Семнадцатое. В уборную Баркова перед вторым звонком заходил неизвестный человек в цилиндре с кожаным портфелем. Слов не проронил. Не назвался.

Восемнадцатое. Антрепренёр Грибов до «Аркадии» держал парикмахерскую. Парикмахеру знать голову — ремесло.

Девятнадцатое. У актрисы Строевой на левом среднем пальце — полоска от кольца. Кольца нет. Отвечать отказалась.

Двадцатое. Прочее — сказал Лукьян.

Продолжение — в записи следующей.

Лукьян снял с колен шарманку и поставил её на землю. Попугай на его плече беспокойно повернул голову.

— Я вам, ваше благородие, вот что скажу, — начал Лукьян. — Я тут во дворе с четырёх часов, и я вчера до полуночи не уходил. Шарманка моя без валика, играет тихо, никто меня не гонит. Я вижу всё, что во дворе делается, дольше, чем всякий другой. И вот вам моя сказка. Вчера, в восемь с четвертью, во двор въехал извозчик. Не наш, московский, а с Петербургского вокзала, судя по пролётке. Стал вон там, у каретника. Извозчик с козел не слез. Из пролётки вышел один человек — в макинтоше, невысокий. И пошёл к чёрному ходу.

Куракин не сказал ничего. Он умел слушать так, что ты сам себе казался глупее, чем был.

— Через сколько вышел? — спросил я.

— Минут через десять. И вышел не один. Вёл кого-то. Плотнo вёл, вот так, — Лукьян двумя пальцами показал, как ведут за рукав. — Что-то на том человеке было, я не разобрал, потому что дождь. Только не сам он шёл. Его вёл макинтош.

— Кто был тот, кого вели? — спросил Куракин.

— По платью не разобрал. По лицу — тоже. Только что не высок, мельче макинтоша. И — тихий.

— Тихий?

— Тихий. Не кричал, не упирался. Будто согласный был.

Куракин смотрел куда-то в сторону каретника.

— А извозчик? — спросил он потом. — В пролётке.

— Извозчик был чужой. Я его в Москве не знаю. Он не из нашего извоза.

— Почему?

— Он за вожжи держался обеими руками, как будто в первый раз их взял. Настоящий извозчик одной рукой держит и ещё успевает махорку крутить. А этот — двумя.

Куракин сказал:

— Хорошо.

Лукьян посидел секунду, потом добавил:

— А лошадь у него была чёрная, в яблоках. Я такую лошадь в Москве видал только у Гурьянова, у купца, с Пречистенки.

— Лошадь Гурьянова? — переспросил я.

— Похожая. Возможно, не его. Но похожая.

Куракин встал. Он не улыбнулся, не подал руки, не сказал «спасибо». Он сказал только:

— Лукьян, вы в это дело уже наполовину влезли. Держитесь меня.

— А пирожок? — спросил Лукьян.

— Пирожок будет, — сказал Куракин. — После.

И тут Архип, — который до сих пор сидел тихо, — вдруг приподнялся, захлопал крыльями и крикнул на весь двор:

— Продали! Продали!

Я вздрогнул. Лукьян даже не обернулся — привык. А Ку-

ракин обернулся и посмотрел на попугая. Долго.

— Что он говорит? — спросил он Лукьяна.

— Так, ваше благородие. Дурацкое слово. Я его в прошлом годе научил. Ездил в Коломну, там на базаре купчиха так кричала: «Продали, продали». Уж чего продала — не знаю. Слово привязалось.

— А вчера когда он это кричал?

Лукьян подумал.

— Днём кричал. Часу в шестом. Не к месту.

— Не к месту, — повторил Куракин.

Он отошёл от Лукьяна на несколько шагов и стоял так, лицом к колодцу, минуты полторы. Я его в такие минуты не трогал — знал, что он сейчас у себя в голове что-то складывает. Потом он обернулся ко мне и сказал:

— Иона Аркадьевич. Куда извозчик девался?

— Как куда? Уехал.

— Куда?

Я задумался. Пролётка с Петербургского вокзала, ставшая у каретника, с чёрной в яблоках лошадыю, — это штука приметная. Я сказал:

— Такого извозчика найти можно. По лошади.

— Ищите, — сказал Куракин. — Сегодня же. Через извозчицьи дворы.

— Это до ночи.

— До ночи и ищите. Я поеду к доктору Кистяковскому.

— Зачем?

— Миндаль, — сказал Куракин.

И ушёл.

Я его догнал уже у ворот.

— Игнат Северьянович. Какой миндаль?

— В уборной Баркова, — сказал Куракин, не оборачиваясь, — пахло горькой миндальной водой. Я уловил прежде, чем вы вошли. Сразу у входа. Запах этот слабый, его глушит пудра. Но он есть.

— Так вы бы сказали мне раньше.

— Я не был уверен. Теперь — уверен. Горькая миндальная вода — вещь не редкая, но не всякий её достанет. Достанет её обыкновенно аптека или — доктор. Я поеду к Кистяковскому. Он вчера был в зале и первым подписал «разрыв сердца».

— И вы его подозреваете?

— Я его не подозреваю, — сказал Куракин. — Я его вижу. Он сел в пролётку и уехал.

Я остался во дворе «Аркадии», и со мной — Лукьян и Архип, и надо было ехать на извозчицьи дворы искать чёрную в яблоках лошадь. Было половина седьмого. Дождь перестал.

Я сказал Лукьяну:

— Пойдём, что ли, к Егорову. Пирожки тебе, чаю мне. Заодно про лошадь у извозчиков спрошу.

Лукьян сказал:

— Пойдёмте, ваше благородие. Только чур — вы чай с сахаром пьёте, я — с мёдом. Это у нас разное.

— Скажите пожалуйста, — заметил я. — Разное.

И мы пошли к Егорову.

Тетрадь. Запись четвёртая. 17 апреля, ночь.

Двадцать первое. Извозчик с Петербургского вокзала.

Пролётка — чужая, лошадь — чёрная в яблоках, в Москве примета редкая. Извозчик за вожжи держался двумя руками. Похож на лошадь Гурьянова, купца на Пречистенке. Проверить.

Двадцать второе. Человек, которого вывели из чёрного хода, был тихий. Шёл как согласный. Одет в тёмное. По виду невысок. Это, по моему убеждению, и есть подменыш.

Двадцать третье. Миндальный запах. Куракин почувствовал в уборной Баркова. Запах слабый, глушится пудрой. Ось дела.

Двадцать четвёртое. Парикмахер сказал про человека в цилиндре с портфелем. Лукьян сказал про макинтош. Это два разных или один и тот же, не установлено. Считать — не установлено.

Двадцать пятое. Архип, попка, вчера в шестом часу дня кричал «продали». Не к месту. Я сам не знаю, важное это или нет. Записал, потому что странно.

Вечером — извозчицьи дворы. Утром — вызов на Садовую-Кудринскую: я велел Прохорову присмотреть за чуланом и никого туда не пускать. Голова — плохая. Чай у Егорова — крепкий.

Глава 2

Двор на Никольском

Куракина я догнал на крыльце. Он шёл уже через двор к чёрному ходу, не оборачиваясь.

— Игнат Северьянович, — сказал я. — В директорской всё готово. Допросим?

— Допросим, — ответил он. — Только не в директорской.

— А где?

— На дворе. Люди во дворе говорят правду. В директорской — рассказывают.

Он был прав, и я это знал. Мне ли не знать: сорок лет окололочным, и сорок лет я вижу одно и то же. В комнате человек садится и вспоминает, как надо. На воздухе — говорит то, что есть.

Двор театра «Аркадия» — меж двух флигелей, с колодцем посредине, с плоской галереей вдоль второго этажа. От чёрного хода — три шага до каретника, от каретника — ворота в Никольский переулок. Место бойкое: и днём, и вечером тут кто-нибудь да сидит. Днём — прачки, торговки, мальчишки. Вечером — публика с задних рядов, курильщики, и вот этот мальчишка с шарманкой, Лукьян, который мне третьего дня дан был на глаза в диковинку, а вчера уже попал в мою тет-

радь.

Мы вышли во двор. Куракин покрутил тростью, посмотрел вверх — на галерею, потом на окна второго этажа, потом на колодец. Сел на лавочку у ворот, положил трость рядом.

— По одному, — сказал он. — Начинайте с рабочего.

Я велел городовому вызвать Тихонова.

Григорий Тихонов, по прозвищу Гвоздь, — лет сорока, сухой, жилистый; руки, как у слесаря, в мозолях и в чёрных точках от железных опилок. Когда он вышел во двор, я сразу увидел: он знал, что его позовут.

— Гвоздь, — сказал я. — Расскажи, что вчера делал после конца действия.

— Коротко, — сказал Куракин.

Гвоздь посмотрел на него, потом на меня, потом опять на него. Потом заговорил, коротко, как велели.

— Публику выпустили. Тело перенесли в комнату для репетиций. Меня поставили к двери — вот тут. Я сидел на табурете у двери, дверь за собой закрыл на ключ, ключ отдал вон тому господину, — кивнул он на меня. — Кто входил — спросите у него.

— Кто входил, я знаю, — сказал Куракин. — Скажите, что вы слышали.

— Часы.

— Какие часы?

— Я не знаю, какие. У нас в комнате для репетиций часов нет. А я слышал всю ночь: тик да тик, тик да тик. Ровно, как

у хорошего стенного.

Куракин карандаша не вынимал. Он смотрел на Гвоздя и ждал.

— А ещё что? — спросил он.

— Ещё — будто дверь в конце коридора скрипнула. Но это, может, ветер.

— Может, ветер, — согласился Куракин. — Спасибо. Ступайте.

Гвоздь ушёл.

Я сел рядом с Куракиным.

— Игнат Северьянович, что за часы?

— Не знаю, — ответил Куракин. — Запишите.

Я вынул тетрадь. Записал: «Часы. Тикали всю ночь в комнате для репетиций. Часов в комнате нет».

Следующий был антрепренёр Грибов. Куракин не встал, не подал руки, не предложил сесть. Грибов сел сам — на другую лавочку, напротив.

— Матвей Фёдорович, — сказал Куракин. — Когда Барков приехал в театр вчера?

— Как всегда. К началу оркестра.

— Кто был с ним в уборной?

— Лакей с вином. Парикмахер. Потом Вера Сергеевна заходила, но это — с полчаса до третьего звонка.

— О чём говорили?

— Не знаю, я там не стоял.

— А в уборной вы были?

— Я в уборной был, — сказал Грибов, и лицо у него пошло красными пятнами. — Я заходил — сказать ему, чтобы он не выходил на сцену за кулисы, а прямо из уборной. У нас порядок.

— Во сколько вы заходили?

— Не помню точно. Перед вторым звонком.

— А кем вы сами работаете, Матвей Фёдорович?

— Что это значит? — вскинулся Грибов.

— Я спрашиваю, — сказал Куракин ровно. — Просто.

— Антрепренёр я. Театр держу.

— Чей театр?

— Мой.

— А до «Аркадии»?

Грибов помолчал.

— До «Аркадии» был парикмахер, — сказал он наконец.

Куракин чуть кивнул. Он не улыбнулся, но что-то в лице у него прошло, и я в такие минуты его боялся больше, чем когда он брал в руки чемодан.

— Идите, — сказал он. — Вы мне нужны ещё будете.

Грибов встал и ушёл. Он держался за перила, хотя тут никаких перил не было.

— Игнат Северьянович, — тихо сказал я. — А что нам парикмахер?

— Парикмахеру, Иона Аркадьевич, — ответил Куракин, — удобно знать, у кого какая голова. Это ремесло. Ничего больше я не имею сказать.

Третья была Строева.

Она вышла во двор не с парадного, а с чёрного хода — значит, знала, откуда её позовут. За собой она притворила дверь тихо. Она была в тёмном платье, без брошей, без колец. Только на левом среднем пальце я заметил очень узкую, почти стёртую белую полосу — там, где кольцо когда-то было. Она села на лавочку напротив Куракина и первая сказала: — Я всё скажу сама. Спрашивайте.

Куракин молчал. Я тоже.

— Я знала Баркова восемь лет, — сказала она. — С Твери. Я его любила, и он это знал. А потом — два года тому — мы поссорились. Из-за дела, не из-за женщины. Дело было маленькое. Он мне не простил. И вот второй сезон я тут, у него в театре, на третьих ролях, и он ко мне не подходит.

— Зачем пришли? — спросил Куракин.

— Из-за характера. Он был дурной, но талантливый. Такого в Москве больше нет. Я пришла работать. Работа мне нужна.

— Что вы делали между вторым и третьим звонком?

— Сидела у себя.

— Кто-нибудь видел?

— Никто.

Куракин молчал.

— У вас кольцо было? — спросил он вдруг.

Строева вздрогнула. Она посмотрела на свою руку — на левый средний палец — и скрыла руку в складке платья.

— Было. Давно.

— Кто дал?

Она не ответила.

— Спасибо, — сказал Куракин. — Ступайте.

Она встала. Она смотрела на него, и в глазах у неё была такая ненависть, что я отступил на шаг. Потом она ушла снова через чёрный ход.

Я записал: «Строева. Кольца нет. Полоска на левом среднем пальце. Меж вторым и третьим звонком — одна, никто не видел. Давно не любит Куракина? Нет. Давно знает Баркова — восемь лет, Тверь».

Четвёртым был парикмахер, приходящий, Семён Семёныч Хвощ. Пришёл — так же, как и Строева, — то есть заранее зная, что позовут. Худой, в клетчатых брюках, с припомаженным пробором, при нём — маленький саквояж, который он не выпускал из рук.

— Господа, — сказал он с ходу. — Я парикмахер. Я приходящий. Я вчера стриг Баркова, но это не значит, что я его убивал. Он мне сам давал рубль на чай.

— Мы вас не подозреваем, — сказал я.

— А зачем тогда позвали?

Куракин сказал:

— Кто ещё к нему заходил до второго звонка?

— Я в уборной был весь вечер, — сказал Хвощ. — Дверь в уборную не закрывали. Заходили: лакей с вином, антрепренёр, актриса одна — я её в лицо не знаю, пришла, что-то ска-

зала и ушла, а потом... а потом...

Он замолчал.

— Что потом? — спросил Куракин.

— А потом зашёл человек, которого я не знаю. Не из театра.

Куракин чуть двинул рукой.

— Опишите его.

— Высокий, — сказал Хвощ. — В цилиндре. С портфелем. Постоял у двери, поглядел на Баркова и ушёл.

— Портфель? Какой?

— Кожаный такой. Тёмный.

Куракин опустил глаза в тетрадь.

— Спасибо, — сказал он и встал.

Хвощ ушёл.

Я вынул тетрадь. Записал: «Парикмахер. В уборной весь вечер. Заходил человек в цилиндре с портфелем. По виду — не из театра. Не назвался. Постоял и ушёл».

Куракин взял у меня тетрадь, прочёл мои записи. Долго смотрел на слово «портфель». Потом вернул тетрадь и сказал:

— Записывайте дальше. Чёрный ход. Замок исправен?

Я пошёл проверять. Чёрный ход был с одним замком; замок был исправен, но в нём был один след — тонкая царапина у нижнего язычка. След свежий. Изнутри.

Я вернулся и доложил.

Куракин задумался.

— Записывайте, — сказал он. — Изнутри чёрный ход отпирали ключом. Ключ — у кого?

Я сказал: у Грибова, у Гвоздя, у двоих суфлёров, у городского участка на посту, и у меня самого.

Куракин покачал головой.

— Плюс, — сказал он, — у человека в цилиндре. С портфелем.

Он встал и пошёл к воротам.

У самых ворот во дворе сидел Лукьян, с шарманкой. Он сидел тут с самого утра, никто его не сгонял, и он терпеливо ждал, пока его позовут. На плече у него сидел попугай Архип, зелёный, старый, с седой головкой. Лукьян посмотрел на Куракина и сказал:

— Ваше благородие. Вы вот что послушайте, пока я вам всё не рассказал.

Куракин вернулся и сел на лавочку рядом с ним.

Я вынул тетрадь.

Тетрадь. Запись третья. 17 апреля, вечер.

Пятнадцатое. Часы в комнате для репетиций тикали всю ночь. Часов в комнате нет. Записано со слов рабочего Тихонова.

Шестнадцатое. Чёрный ход отпирали изнутри. Царапина у нижнего язычка. Свежая.

Семнадцатое. В уборную Баркова перед вторым звонком заходил неизвестный человек в цилиндре с кожаным портфелем. Слов не проронил. Не назвался.

Восемнадцатое. Антрепренёр Грибов до «Аркадии» держал парикмахерскую. Парикмахеру знать голову — ремесло.

Девятнадцатое. У актрисы Строевой на левом среднем пальце — полоска от кольца. Кольца нет. Отвечать отказалась.

Двадцатое. Прочее — сказал Лукьян.

Лукьян снял с колен шарманку и поставил её на землю. Попугай на его плече беспокойно повернул голову.

— Я вам, ваше благородие, вот что скажу, — начал Лукьян. — Я тут во дворе с четырёх часов, и я вчера до полуночи не уходил. Шарманка моя без валика, играет тихо, никто меня не гонит. Я вижу всё, что во дворе делается, дольше, чем всякий другой. И вот вам моя сказка. Вчера, в восемь с четвертью, во двор въехал извозчик. Не наш, московский, а с Петербургского вокзала, судя по пролётке. Стал вон там, у каретника. Извозчик с козел не слез. Из пролётки вышел один человек — в макинтоше, невысокий. И пошёл к чёрному ходу.

Куракин не сказал ничего. Он умел слушать так, что ты сам себе казался глупее, чем был.

— Через сколько вышел? — спросил я.

— Минут через десять. И вышел не один. Вёл кого-то. Плотнo вёл, вот так, — Лукьян двумя пальцами показал, как ведут за рукав. — Что-то на том человеке было, я не разобрал, потому что дождь. Только не сам он шёл. Его вёл макинтош.

— Кто был тот, кого вели? — спросил Куракин.

— По платью не разобрал. По лицу — тоже. Только что не высок, мельче макинтоша. И — тихий.

— Тихий?

— Тихий. Не кричал, не упирался. Будто согласный был.

Куракин смотрел куда-то в сторону каретника.

— А извозчик? — спросил он потом. — В пролётке.

— Извозчик был чужой. Я его в Москве не знаю. Он не из нашего извоза.

— Почему?

— Он за вожжи держался обеими руками, как будто в первый раз их взял. Настоящий извозчик одной рукой держит и ещё успевает махорку крутить. А этот — двумя.

Куракин сказал:

— Хорошо.

Лукьян посидел секунду, потом добавил:

— А лошадь у него была чёрная, в яблоках. Я такую лошадь в Москве видал только у Гурьянова, у купца, с Пречистенки.

— Лошадь Гурьянова? — переспросил я.

— Похожая. Возможно, не его. Но похожая.

Куракин встал. Он не улыбнулся, не подал руки, не сказал «спасибо». Он сказал только:

— Лукьян, вы в это дело уже наполовину влезли. Держитесь меня.

— А пирожок? — спросил Лукьян.

— Пирожок будет, — сказал Куракин. — После.

И тут Архип, — который до сих пор сидел тихо, — вдруг приподнялся, захлопал крыльями и крикнул на весь двор:

— Продали! Продали!

Я вздрогнул. Лукьян даже не обернулся — привык. А Куракин обернулся и посмотрел на попугая. Долго.

— Что он говорит? — спросил он Лукьяна.

— Так, ваше благородие. Дурацкое слово. Я его в прошлом годе научил. Ездил в Коломну, там на базаре купчиха так кричала: «Продали, продали». Уж чего продала — не знаю. Слово привязалось.

— А вчера когда он это кричал?

Лукьян подумал.

— Днём кричал. Часу в шестом. Не к месту.

— Не к месту, — повторил Куракин.

Он отошёл от Лукьяна на несколько шагов и стоял так, лицом к колодцу, минуты полторы. Я его в такие минуты не трогал — знал, что он сейчас у себя в голове что-то складывает. Потом он обернулся ко мне и сказал:

— Иона Аркадьевич. Куда извозчик девался?

— Как куда? Уехал.

— Куда?

Я задумался. Пролётка с Петербургского вокзала, ставшая у каретника, с чёрной в яблоках лошадыю, — это штука приметная. Я сказал:

— Такого извозчика найти можно. По лошади.

— Ищите, — сказал Куракин. — Сегодня же. Через извозничьи дворы.

— Это до ночи.

— До ночи и ищите. Я поеду к доктору Кистяковскому.

— Зачем?

— Миндаль, — сказал Куракин.

И ушёл.

Я его догнал уже у ворот.

— Игнат Северьянович. Какой миндаль?

— В уборной Баркова, — сказал Куракин, не оборачиваясь, — пахло горькой миндальной водой. Я уловил прежде, чем вы вошли. Сразу у входа. Запах этот слабый, его глушит пудра. Но он есть.

— Так вы бы сказали мне раньше.

— Я не был уверен. Теперь — уверен. Горькая миндальная вода — вещь не редкая, но не всякий её достанет. Достанет её обыкновенно аптека или — доктор. Я поеду к Кистяковскому. Он вчера был в зале и первым подписал «разрыв сердца».

— И вы его подозреваете?

— Я его не подозреваю, — сказал Куракин. — Я его вижу. Он сел в пролётку и уехал.

Я остался во дворе «Аркадии», и со мной — Лукьян и Архип, и надо было ехать на извозничьи дворы искать чёрную в яблоках лошадь. Было половина седьмого. Дождь перестал.

Я сказал Лукьяну:

— Пойдём, что ли, к Егорову. Пирожки тебе, чаю мне. Заодно про лошадь у извозчиков спрошу.

Лукиян сказал:

— Пойдёмте, ваше благородие. Только чур — вы чай с сахаром пьёте, я — с мёдом. Это у нас разное.

— Скажите пожалуйста, — заметил я. — Разное.

И мы пошли к Егорову.

Тетрадь. Запись четвёртая. 17 апреля, ночь.

Двадцать первое. Извозчик с Петербургского вокзала. Пролётка — чужая, лошадь — чёрная в яблоках, в Москве примета редкая. Извозчик за вожжи держался двумя руками. Похож на лошадь Гурьянова, купца на Пречистенке. Проверить.

Двадцать второе. Человек, которого вывели из чёрного хода, был тихий. Шёл как согласный. Одет в тёмное. По виду невысок. Это, по моему убеждению, и есть подменыш.

Двадцать третье. Миндальный запах. Куракин почувствовал в уборной Баркова. Запах слабый, глушится пудрой. Ось дела.

Двадцать четвёртое. Парикмахер сказал про человека в цилиндре с портфелем. Лукиян сказал про макинтош. Это два разных или один и тот же, не установлено. Считать — не установлено.

Двадцать пятое. Архип, попка, вчера в шестом часу дня кричал «продали». Не к месту. Я сам не знаю, важное это или нет. Записал, потому что странно.

Вечером — извозчицьи дворы. Утром — вызов на Садовую-Кудринскую: я велел Прохорову присмотреть за чуланом и никого туда не пускать. Голова — плохая. Чай у Егорова — крепкий.

Двадцать первое. Извозчик с Петербургского вокзала. Пролётка — чужая, лошадь — чёрная в яблоках, в Москве примета редкая. Извозчик за вожжи держался двумя руками. Похож на лошадь Гурьянова, купца на Пречистенке. Проверить.

Двадцать второе. Человек, которого вывели из чёрного хода, был тихий. Шёл как согласный. Одежда тёмная. По виду невысок. Это, по моему убеждению, и есть подменыш.

Двадцать третье. Миндальный запах. Куракин почувствовал в уборной Баркова. Запах слабый, глушится пудрой. Ось дела.

Двадцать четвёртое. Парикмахер сказал про человека в цилиндре с портфелем. Лукьян сказал про макинтош. Это два разных или один и тот же — не установлено. Считать: не установлено.

Двадцать пятое. Архип, попка, вчера в шестом часу дня кричал «продали». Не к месту. Сам не знаю, важное это или нет. Записал, потому что странно.

Двадцать шестое. Вечером — извозчицьи дворы. С Прохоровым на Садовой условились: чулан на замке, у двери постовой.

Двадцать седьмое. Чай у Егорова — крепкий. Лукьян пьёт

с мёдом, я — с сахаром. На том и разошлись.

Глава 3

Пречистенка

Дом доктора Кистяковского стоит на Пречистенке, у самого начала, где улица ещё узкая, за Каменным мостом. Каменный, в два этажа, с широким подъездом под зонтом; у входа — лакей в передней; в прихожей — часы английские в футляре и визитные карточки на медном блюде. Мне, околочному, такие дома известны снаружи и неведомы изнутри. Мы входили изнутри.

Куракин был у доктора накануне вечером и вернулся от него с одной фразой: «Кистяковский болен и никого не принимает». На другое утро доктор прислал в участок записку, а после полудня — вторую. Первую я прочёл сам и отдал Куракину; вторую привёз нарочный от доктора.

Первая записка, короткая, была такая:

«По делу Баркова говорить не намерен. Заключение подписано. Прошу более меня не беспокоить».

Вторая была длиннее:

«Ежели господин агент сочтёт нужным явиться — пусть явится один и без чемоданного вида. Дома я. Лежу».

Куракин прочёл обе, сложил вдвое, положил во внутренний карман сюртука и сказал мне:

— Чемодан беру.

— Игнат Северьянович, — сказал я. — Так ведь он просил.

— Он просил, — согласился Куракин. — Он всегда просит. А мы всегда берём.

Я спросил почему. Куракин мне не ответил; он редко отвечал на такие вопросы. Он только велел заложить пролётку и ехать.

Доктор принял нас в кабинете. Кабинет был длинный, в два окна, с книжными шкафами по стенам и с огромным письменным столом посередине; на столе — микроскоп, чашка кофе, которую нам не предложили, и газета, сложенная вчетверо. Сам доктор сидел у окна в кресле, в халате, в туфлях, с пледом на коленях. При часах на жилете, при золотом пенсне на шнурке. Лицо у него было сероватое, но, по правде говоря, не такое уж и болезненное — я в своей жизни видел много больных и знал, как выглядит настоящая болезнь. Доктор выглядел напуганным.

Он не встал.

— Куракин, — сказал он вместо приветствия. — Я вам писал. Вы приехали. Я просил без чемодана.

— Это моя привычка, — сказал Куракин. — Извините.

Он подошёл к столу, положил чемодан на пол — не на стул, не на стол, а прямо на пол, у самых ног доктора. Доктор на него не смотрел. Он смотрел на Куракина.

— Доктор, — сказал Куракин и сел в кресло напротив без

приглашения. — Я вас не задержу. Два вопроса.

— Я вам всё сказал ещё вчера.

— Вчера вы сказали: разрыв сердца. Сегодня я хочу спросить у вас о другом. — Куракин помолчал. — Вы осматривали тело Баркова вчера вечером в зале, при мне. Это было одно и то же тело?

— Разумеется.

— То есть вы утверждаете, — сказал Куракин ровно, — что тело, которое я видел вчера на сцене, — то же тело, что лежит в комнате для репетиций в «Аркадии». Я верно вас понял?

Доктор положил руку на плед, будто собираясь приподняться, но не приподнялся.

— Я не понимаю, о чём вы.

— Поймёте, — сказал Куракин и посмотрел мне на секунду, потом опять на доктора. — Вчера на сцене тело было в костюме трагика, в парике, в гриме. Сегодня в комнате для репетиций тело в сюртуке, без парика, без грима. Это два разных тела, доктор. Неужто вы не заметили?

Доктор молчал.

Молчал он долго. Потом сказал:

— Я не смотрел.

— Вы подписали «разрыв сердца», не посмотрев на лицо? Так, что ли, у вас в практике — по одной руке и по груди?

— По груди и по руке.

— По руке покойного с париком. А сегодня по руке покой-

ного без парика. Оба раза — с уверенностью, что это Барков.

— Это был один человек.

— Который из?

— Тот, что в зале.

— Тогда кто в комнате для репетиций?

Доктор не ответил. Он опустил глаза в плед. Плечи у него вздрогнули — не от холода, я видел, что не от холода.

— Второй вопрос, — сказал Куракин, не меняя голоса. — Что вы нашли у тела?

— Разрыв сердца.

— Кроме.

Доктор молчал ещё дольше, чем прежде. Потом откинулся в кресле, достал из кармана халата платок, вытер сухие губы, поглядел в окно и сказал:

— Запах.

— Какой?

— Миндальный. Приторный. Я почувствовал его, когда наклонился к груди.

— Вы этого не сказали никому.

— Не сказал.

— Почему?

— Кому мне это говорить, Куракин? — сказал доктор, и голос у него впервые сорвался. — Меня в этом городе знают тридцать лет. Все тридцать лет я подписывал заключения, и ни одно из них ни разу не было оспорено. Если теперь мне придётся выйти в суд и сказать, что я вчера ошибся и под-

писал «разрыв сердца» там, где был яд, — меня через месяц не позовут ни в одну семью. Вы это понимаете?

Куракин не сказал ничего.

Доктор говорил тише.

— Я подписал. Заключение есть. Второй раз я его не переподпишу. Сегодня у меня дома вы меня не видели. Ничего я вам не говорил. Никакого миндаля здесь не было.

— Доктор, — сказал Куракин спокойно. — Я от вас хочу только одну вещь. Вы сейчас достаньте из жилетного кармана платок и дайте мне его.

— Что?

— Платок.

— Зачем?

— Понюхать.

Доктор побледнел. Он посмотрел Куракину в глаза, и я увидел, как в его зрачках появилось то самое, что бывает у человека, которого взяли за руку, — сначала страх, потом мгновенная растерянность, потом привычка ко лжи, которая приходит на помощь первой.

— У меня нет платка.

— Есть, — сказал Куракин. — Он у вас в жилетном кармане, справа. Вы его вынимали вчера в зале и вытирали им лоб. Я помню, как вы это делали. Вы его положили обратно мокрым. Он, вероятно, до сих пор мокрый — потому что мокрый платок в кармане не сохнет.

Доктор сидел неподвижно. Он даже не двинулся, чтобы

закрыть карман рукой. Он посмотрел сначала в окно, потом на меня, потом на Куракина. И — медленно — достал платок.

Теперь я хочу сказать прямо и по-своему, как записал это у себя в тетради.

Платок, когда его развернули, пахнул. Он пахнул приторно, сладко, противно — тем самым миндалём, который я, старый околоточный, знал ещё с той поры, когда меня посылали на отравления в Замоскворечье в восемьдесят пятом году. Пах был не сильный. Но был.

Куракин не взял платок. Он только наклонился к нему и отстранился.

— Благодарю вас, доктор, — сказал он. — Больше у меня вопросов нет.

— Что вы теперь сделаете? — спросил доктор. Он сказал это очень тихо.

— Пока — ничего, — ответил Куракин. — Я вас оставлю под подпиской. Ездить вам незачем; я и сам к вам приду. Если вы куда-нибудь поедете, доктор, без моего ведома — предупреждаю заранее — я вас догоню в Туле или в Твери. Мне всё равно, где вас брать.

— Я не поеду.

— Не поедете, — согласился Куракин.

Он встал, взял свой чемодан и пошёл к двери.

У двери он обернулся и сказал:

— Доктор, у вас в аптечке горькая миндальная вода обык-

новенно стоит?

Доктор смотрел на него. Он долго смотрел на него. Потом сказал:

— У всякого доктора, Куракин, много чего стоит. Это не значит, что он сам этим травит.

— Это верно, — сказал Куракин. — Это я у вас запишу в тетрадь.

И вышел.

На крыльце я не выдержал.

— Игнат Северьянович, — сказал я. — Что ж мы в доме у доктора платок нашли — и ушли? Ведь это же улика. Надо брать.

— Не надо.

— Как не надо? Он — отравитель.

Куракин остановился у пролётки и посмотрел на меня. Лицо у него было усталое.

— Иона Аркадьевич, — сказал он. — Я вам вот что объясню. Если я его сейчас задержу, то у меня в руках будет один испуганный доктор с чужим миндальным запахом в кармане. Мне этого мало. У меня в деле — **три** трупа одного и того же человека: на сцене, в комнате для репетиций и в чулане на Садовой. Если я посажу доктора сегодня, завтра за меня возьмётся прокурор, а послезавтра — семья Баркова. И тот, кто весь этот порядок заварил, спрячется в Туле и будет тридцать лет читать лекции о добродетели.

— А сегодня что оно даёт?

— Сегодня оно даёт, — ответил Куракин, — что доктор Кистяковский меня боится. А я боюсь не доктора. Я боюсь того, кто его придумал.

Я этого не понял. Я этого не понял ещё целую неделю.

Мы сели в пролётку. Куракин велел ехать на Садовую-Кудринскую. Я спросил зачем.

— К Прохорову, — сказал он. — Я хочу посмотреть на чулан.

— Так ведь там всё уже видели. Труп.

— Я хочу посмотреть, — сказал Куракин, — на дрова.

Тетрадь. Запись пятая. 17 апреля, вечер.

Двадцать восьмое. Доктор Кистяковский. Заключение подписал, переподписывать не станет. Платок с миндальным запахом остался при нём. Куракин платка не взял, но и доктора не задержал. Мне — непонятно. Куракину — виднее.

Двадцать девятое. Доктор испугался, когда Куракин спросил про платок. Очень испугался. Я удивляюсь, почему Куракин после этого ушёл.

Тридцатое. Куракин спросил доктора про горькую миндальную воду в его аптечке. Доктор ответил уклончиво. Это — не признание, но и не отрицание.

Тридцать первое. Мы едем на Садовую-Кудринскую. Куракин хочет посмотреть на дрова. Я не понимаю, что можно увидеть в дровах. Но я уже понял правило: если я не понимаю, значит, Куракин понимает. Это скорее приятно, чем обидно: по крайней мере, меньше работы.

Глава 4

Дрова

На Садовую-Кудринскую мы приехали к шести. Дом Андреева — доходный, в два этажа, с чёрной лестницей во дворе, с чуланом под лестницей, запёртым на висячий замок. Швейцар Прохоров встретил нас у ворот и повёл через двор.

Двор был пустой — с колодцем посредине, с поленницей у флигеля, с мокрым, ещё не просохшим после дождя булыжником. Чулан стоял в самом углу, под навесом, за дровяным сараем. Дверь в чулан — обитая войлоком, с висячим замком. Замок цел. Поставого я поставил у двери с самого утра, и он всё это время никого не пускал.

Куракин отослал поставого к воротам. Он вынул из кармана ключ и отпер чулан сам.

Чулан был небольшой: шагов пять в длину, три в ширину, стены кирпичные, пол земляной, потолок низкий. Дров в нём почти не было — только в дальнем углу навалено колотых берёзовых поленьев, штук двадцать. На полу, там где лежал Барков, — тёмное, уже подсохшее пятно. Больше ничего.

Куракин поставил чемодан на пол, открыл его, вынул свечу и зажёл. Держа свечу в руке, он подошёл не к пятну, а к

дровам. Присел на корточки. Стал вынимать поленья одно за другим и класть рядом. Я стоял у двери и смотрел.

Он вынул все двадцать поленьев. Под ними ничего не было — земляной пол, мокрый от подпочвенной воды.

— Игнат Северьянович, — сказал я. — Пусто.

— Не пусто, — ответил Куракин.

Он показал рукой на угол, где поленья лежали. Там, на земляном полу, — я в первую минуту не разглядел, — было плоское, вдавленное место, размером с книгу. Не человеческий след. Скорее — будто что-то тяжёлое и плоское лежало здесь долго, и землю под ним утрамбовало.

— Портфель, — сказал Куракин.

Я не понял.

— Тут лежал портфель, — сказал Куракин. — День, два, а может, и неделю. Под дровами. Его убрали вчера ночью.

— Откуда вы знаете?

— По обводу. Поленья лежали неровно, а земля под книгой — ровная, как ладонь. Такую ямку оставляет только кожаный портфель с бумагами. Или портфель доктора, или портфель того человека в цилиндре, о котором говорил парикмахер. Я склоняюсь ко второму.

Я смотрел на вдавленное место и на дрова, и не понимал, какая мне из этого польза.

— Игнат Северьянович, — сказал я. — Портфель-то унесли. Что ж нам теперь?

— Портфель унесли, — согласился Куракин. — А ямка

осталась. Портфель — вещь. Ямка от вещи — след. След всегда больше вещи, Иона Аркадьевич. Помните это.

Я записал эту фразу.

Куракин сел на пол, свечу поставил рядом. Так он просидел минуты две, глядя на ямку. Потом встал и велел мне:

— Дрова на место. Пятно не затаптывать. Замок на место. Поставого — обратно.

Я всё сделал. Мы вышли, Куракин запер чулан и отдал ключ швейцару Прохорову.

Швейцар спросил, что теперь будет.

— Ничего, — сказал Куракин. — Завтра я приеду с чемоданом и с понатыми. А пока чтобы ни одна душа сюда не входила. Вы меня поняли?

— Понял, — сказал Прохоров. — А что я в этом чулане стерегу-то, ваше благородие?

— Ничего, — сказал Куракин. — И это самое важное.

Мы сели в пролётку и поехали к Егорову. Дорогой Куракин молчал. Я тоже молчал — не потому что не хотел говорить, а потому что не знал, с чего начать. Извозчик с Петербургского вокзала искался весь вечер; я успел побывать на четырёх извозничьих дворах и нигде чёрной в яблоках лошади с Петербургского вокзала не нашли. У Гурьянова, купца на Пречистенке, я сам заезжал домой, но Гурьянов был в отъезде, а конюх сказал, что лошадь в яблоках у них есть, да только она в имении, и её в Москве не бывало с августа.

Об этом я и доложил Куракину.

Он выслушал и не сказал ничего.

— А вы что нашли? — спросил я, чтоб не молчать.

— Доктора, — сказал Куракин.

— Ну, доктора. А ещё?

— Дрова.

Я не вытерпел.

— Игнат Северьянович. Я в полиции двадцать лет. Я вас не первый день знаю. Объясните мне, пожалуйста, что вы вообще делаете. Вы ходите, смотрите, нюхаете, садитесь на пол и находите ямку от портфеля. А дела у вас — три трупа одного человека. Доктор с чужим миндальным запахом в кармане — не арестован. Извозчик с Петербургского вокзала — не найден. Строева с полоской от кольца — не допрошена. Что мы такое делаем, Игнат Северьянович?

Куракин долго молчал.

— Мы делаем, — сказал он наконец, — то, что не делают другие. Мы собираем всё, что найдём, и не показываем никому. Мы нарочно ничего не задерживаем, чтобы другие показали себя. Помните: преступник всегда хочет думать, что его не видят. Дайте ему так думать — и он через неделю сам придёт к нам в руки.

Он сказал это очень спокойно. И я понял, что это у него правило. И записал его в тетрадь — пометил «правило Куракина, первое».

Мы доехали до чайной Егорова. Лукьян с шарманкой ждал нас у дверей — он знал, что мы будем. Архип сидел на

его плече и, когда увидел Куракина, вдруг повёл головой.

Куракин открыл дверь и пропустил меня первого. Я уже взялся за ручку, как вдруг Куракин сказал:

— Лукьян.

— Чего, ваше благородие?

— Пирожок с капустой, — сказал Куракин. — Сегодня я вам должен. И Архипу — семечек.

В чайной у Егорова мы просидели до одиннадцати. За это время Лукьян дважды пересказал, как во дворе театра было дело; я записал всё в тетрадь; Куракин выпил три чайника без сахара. Архип на шарманке ходил туда-сюда и два раза сказал своё слово — «продали!», — оба раза ни к чему. Я уже привык к нему и не вздрагивал.

К одиннадцати Куракин встал.

— Иона Аркадьевич, — сказал он. — Завтра в полдень — в «Аркадии». Я собираю всех, кто был за кулисами вчера вечером.

— Зачем?

— Затем, — сказал Куракин, — что дело пора кончать.

— Так вы знаете, кто?

— Знаю, — сказал Куракин. — И вы знаете. И доктор знает. И Лукьян знает, и Арх

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.